

НИКА

Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич, том Бунина, я иногда отрываю взгляд от страницы и смотрю на стену, где висит ее случайно сохранившийся снимок.

Она была намного моложе меня; судьба свела нас случайно, и я не считал, что ее привязанность ко мне вызвана моими достоинствами; скорее, я был для нее, если воспользоваться термином из физиологии, просто раздражителем, вызывавшим рефлекс и реакции, которые остались бы неизменными, будь на моем месте физик-фундаменталист в академической ермолке, продажный депутат или любой другой, готовый оценить ее смуглую южную прелесть и смягчить ей тяжесть существования вдали от древней родины, в голодной северной стране, где она по недоразумению родилась. Когда она прятала голову у меня на груди, я медленно проводил пальцами по ее шее и представлял себе другую ладонь на том же нежном изгибе — тонкопалую и бледную, с маленьким черепом на кольце, или непристойно волосатую, в синих якорях и датах, так же медленно сползающую вниз, — и чувствовал, что эта перемена совсем не затронула бы ее души. Я никогда не называл ее полным именем — слово «Вероника» для меня было ботаниче-

ским термином и вызывало в памяти удушливо пахнущие белые цветы с оставшейся далеко в детстве южной клумбы. Я обходился последним словом, что было ей безразлично; чутья к музыке речи у нее не было совсем, а о своей тезке-богине, безголовой и крылатой, она даже не знала.

Мои друзья невзлюбили ее сразу. Возможно, они догадывались, что великодушие, с которым они — пусть даже на несколько минут — принимали ее в свой круг, оставалось просто незамеченным. Но требовать от Ники иного было бы так же глупо, как ожидать от идущего по асфальту пешехода чувства признательности к когда-то проложившим дорогу рабочим; для нее окружающие были чем-то вроде говорящих шкафов, которые по непостижимым причинам появлялись рядом с ней и по таким же непостижимым причинам исчезали. Ника не интересовалась чужими чувствами, но инстинктивно угадывала отношение к себе — и, когда ко мне приходили, она чаще всего вставала и шла на кухню. Внешне мои знакомые не были с ней грубы, но не скрывали пренебрежения, когда ее не было рядом; никто из них, разумеется, не считал ее равней.

— Что ж твоя Ника на меня и глядеть не хочет? — спрашивал меня один из них с усмешечкой.

Ему не приходило в голову, что именно так оно и есть; со странной наивностью он полагал, что в глубине Никиной души ему отведена целая галерея.

— Ты совершенно не умеешь их дрессировать, — говорил другой в приступе пьяной задумчивости, — у меня она шелковой была бы через неделю.

Я знал, что он отлично разбирается в предмете, потому что жена дрессирует его уже четвертый год, но меньше всего в жизни мне хотелось стать чьим-то воспитателем.

Не то чтобы Ника была равнодушна к удобствам — она с патологическим постоянством оказывалась в том самом кресле, куда мне хотелось сесть, — но предметы существовали для нее, только пока она ими пользовалась, а потом исчезали. Наверное, поэтому у нее не было практически ничего своего; я иногда думал, что именно такой тип и пытались вывести коммунисты древности, не имея понятия, как будет выглядеть результат их усилий. С чужими чувствами она не считалась, но не из-за скверного склада характера, а оттого, что часто не догадывалась о существовании этих чувств. Когда она случайно разбила старинную сахарницу кузнецовского фарфора, стоявшую на шкафу, и я через час после этого неожиданно для себя дал ей пощечину, Ника просто не поняла, за что ее ударили, — она выскочила вон и, когда я пришел извиняться, молча отвернулась к стене. Для Ники сахарница была просто усеченным конусом из блестящего материала, набитым бумажками; для меня — чем-то вроде ко-

пилки, где хранились собранные за всю жизнь доказательства реальности бытия: страничка из давно не существующей записной книжки с телефоном, по которому я так и не позвонил; билет в «Иллюзион» с неоторванным контролем; маленькая фотография и несколько незаполненных аптечных рецептов. Мне было стыдно перед Никой, а извиняться было глупо; я не знал, что делать, и оттого говорил витиевато и путано:

— Ника, не сердись. Хлам имеет над человеком странную власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает признать, что целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за спиной, или, наоборот и то же самое, оказался впереди, в царстве надвигающегося небытия... Ника, если бы ты меня понимала... Обломки прошлого становятся подобием якорей, привязывающих душу к уже не существующему, из чего видно, что нет и того, что обычно понимают под душой, потому что...

Я из-под ладони глянул на нее и увидел, как она зевает. Бог знает, о чем она думала, но мои слова не проникали в ее маленькую красивую голову — с таким же успехом я мог бы говорить с диваном, на котором она сидела.

В тот вечер я был с Никой особенно нежен, и все же меня не покидало чувство, что мои руки, скользящие по ее телу, не многим отличаются для нее от веток, которые касаются ее боков во время

наших совместных прогулок по лесу — тогда мы еще ходили на прогулки вдвоем.

Мы были рядом каждый день, но у меня хватило трезвости понять, что по-настоящему мы не станем близки никогда. Она даже не догадывалась, что в тот самый момент, когда она прижимается ко мне своим по-кошачьи гибким телом, я могу находиться в совсем другом месте, полностью забыв о ее присутствии. В сущности, она была очень пошла, и ее запросы были чисто физиологическими — набить брюхо, выспаться и получить необходимое для хорошего пищеварения количество ласки. Она часами дремала у телевизора, почти не глядя на экран, помногу ела — кстати, предпочитала жирную пищу — и очень любила спать; ни разу я не помню ее с книгой. Но природное изящество и юность придавали всем ее проявлениям какую-то иллюзорную одухотворенность; в ее животном — если вдуматься — бытии был отблеск высшей гармонии, естественное дыхание того, за чем безнадежно гонится искусство, и мне начинало казаться, что по-настоящему красива и осмысленна именно ее простая судьба, а все, на чем я основываю собственную жизнь, — просто выдумки, да еще и чужие. Одно время я мечтал узнать, что она обо мне думает, но добиваться от нее ответа было бесполезно, а днев-

ника, который я мог бы украдкой прочесть, она не вела.

И вдруг я заметил, что меня по-настоящему интересует ее мир. У нее была привычка подолгу просиживать у окна, глядя вниз; однажды я остановился за ее спиной, положил ладонь ей на затылок — она чуть вздрогнула, но не отстранилась — и попытался угадать, на что она смотрит и чем для нее является то, что она видит.

Перед нами был обычный московский двор — песочница с парой ковыряющихся детей, турник, на котором выбивали ковры, каркас чума, сваренный из красных металлических труб, бревенчатая избушка для детей, помойки, вороны и мачта фонаря. Больше всего меня угнетал этот красный каркас — наверно, потому, что когда-то в детстве, в серый зимний день, моя душа хрустнула под тяжестью огромного гэдээровского альбома, посвященного давно исчезнувшей культуре охотников за мамонтами. Это была удивительно устойчивая цивилизация, существовавшая, совершенно не изменяясь, несколько тысяч лет где-то в Сибири — люди жили в небольших, обтянутых мамонтовыми шкурами полукруглых домиках, каркас которых точь-в-точь повторял геометрию нынешних красных сооружений на детских площадках, только выполнялся не из железных труб, а из связанных

бивней мамонта. В альбоме жизнь охотников — это романтическое слово, кстати, совершенно не подходит к нематым ублюдкам, раз в месяц заманивавшим большое доверчивое животное в яму с колом на дне, — была изображена очень подробно, и я с удивлением узнал многие мелкие бытовые детали, пейзажи и лица; тут же я сделал первое в своей жизни логическое умозаключение, что художник, без всякого сомнения, побывал в советском плену. С тех пор эти красные решетчатые полусферы, возвышающиеся почти в каждом дворе, стали казаться мне эхом породившей нас культуры; другим ее эхом были маленькие стада фарфоровых мамонтов, из тьмы тысячелетий бредущие в будущее по миллионам советских буфетов. Есть у нас и другие предки, думал я, вот, например, трипольцы — не от слова «Триполи», а от «Триполье», — которые четыре, что ли, тысячи лет назад занимались земледелием и скотоводством, а в свободное время вырезали из камня маленьких голых баб с очень толстым задом, — этих баб, «Венер», как их сейчас называют, осталось очень много — видно, они были в красном углу каждого дома. Кроме этого, про трипольцев известно, что их бревенчатые колхозы имели очень строгую планировку с широкой главной улицей, а дома в поселках были совершенно одинаковы. На детской площадке, которую разглядывали мы с Никой, от этой культуры остался бре-

венчатый домик, строго ориентированный по сторонам света, где уже час сидела вялая девочка в резиновых сапогах — сама она была не видна, виднелись только покачивающиеся нежно-голубые голенища.

Господи, думал я, обнимая Нику, а сколько я мог бы сказать, к примеру, о песочнице? А о помойке? А о фонаре? Но все это будет моим миром, от которого я порядочно устал и из которого мне некуда выбраться, потому что умственные построения, как мухи, облепят изображение любого предмета на сетчатке моих глаз. А Ника была совершенно свободна от унижительной необходимости соотносить пламя над мусорным баком с московским пожаром 1737 года или связывать полуотрыжку-полукарканье сытой универсамовской вороны с древнеримской приметой, упомянутой в «Юлиане Отступнике». Но что же тогда такое ее душа?

Мой кратковременный интерес к ее внутренней жизни, в которую я не мог проникнуть, несмотря на то что сама Ника полностью была в моей власти, объяснялся, видимо, моим стремлением измениться, избавиться от постоянно грохочущих в голове мыслей, успевших накатать колею, из которой они уже не выходили. В сущности, со мной уже давно не происходило ничего нового, и я надеялся, находясь рядом с Никой, увидеть какие-то незнакомые способы чувствовать и жить. Когда я сознался себе,

что, глядя в окно, она видит попросту то, что там находится, и что ее рассудок совершенно не склонен к путешествиям по прошлому и будущему, а довольствуется настоящим, я уже понимал, что имею дело не с реально существующей Никой, а с набором собственных мыслей; что передо мной, как это всегда было и будет, оказались мои представления, принявшие ее форму, а сама Ника, сидящая в полуметре от меня, недоступна, как вершина Спасской башни. И я снова ощутил на своих плечах невесомый, но невыносимый груз одиночества.

— Видишь ли, Ника, — сказал я, отходя в сторону, — мне совершенно наплевать, зачем ты глядишь во двор и что ты там видишь.

Она посмотрела на меня и опять повернулась к окну — видно, она успела привыкнуть к моим выходкам. Кроме того — хоть она никогда не призналась бы в этом, — ей было совершенно наплевать на все, что я говорю.

Из одной крайности я бросился в другую. Убедившись, что загадочность ее зеленоватых глаз — явление чисто оптическое, я решил, что знаю про нее все, и моя привязанность разбавилась легким презрением, которого я почти не скрывал, считая, что она его не заметит. Но вскоре я почувствовал,

что она тяготится замкнутостью нашей жизни, становится нервной и обидчивой.

Была весна, а я почти все время сидел дома, и ей приходилось проводить время рядом, а за окном уже зеленела трава и сквозь серую пленку похожих на туман облаков, затянувших все небо, мерцало размытое, вдвое больше обычного, солнце. Я не помню, когда она первый раз пошла гулять без меня, но помню свои чувства по этому поводу — я отпустил ее без особого волнения, отбросив вялую мысль о том, что надо бы пойти вместе.

Не то чтобы я стал тяготиться ее обществом — просто я постепенно начал относиться к ней так же, как она с самого начала относилась ко мне — как к табурету, кактусу на подоконнике или круглому облаку за окном. Обычно, чтобы сохранить у себя иллюзию прежней заботы, я провожал ее до двери на лестничную клетку, бормотал ей вслед что-то неразборчиво-напутственное и шел назад; она никогда не спускалась в лифте, а неслышными быстрыми шагами сбегала по лестнице вниз — я думаю, что в этом не присутствовало ни тени спортивного кокетства; она действительно была так юна и полна сил, что ей легче было три минуты мчаться по ступеням, почти их не касаясь, чем тратить это же время на ожидание жужжащего гробоподобного ящика, залитого тревожным желтым светом, воняющего мочой и славящего группу «*Depeche Mode*». (Кстати сказать, Ника была на редкость равно-

душна и к этой группе, и к року вообще — единственное, что на моей памяти вызвало у нее интерес, — это то место на «Animals», где сквозь облака знакомого дыма военной трехтонкой катит к линии фронта далекий синтезатор и задумчиво лают еще не прикормленные Борисом Гребенщиковым электрические псы.)

Меня интересовало, куда она ходит, — хоть и не настолько, чтобы я стал за ней шпионить, но в достаточной степени, чтобы заставить меня выходить на балкон с биноклем в руках через несколько минут после ее ухода; перед самим собой я никогда не делал вид, что то, чем я занят, порядочно. Ее простые маршруты шли по иссеченной дорожками аллее, мимо скамеек, ларька с напитками и спирального подъема в стол заказов; потом она поворачивала за угол высокой зеленой шестнадцатиэтажки — туда, где за долгим пыльным пустырем начинался лес. Дальше я терял ее, и — Господи! — как же мне было жаль, что я не мог на несколько секунд стать ею и увидеть по-новому все то, что уже стало для меня незаметным. Уже потом я понял, что мне хотелось просто перестать быть собой, то есть перестать быть; тоска по новому — это одна из самых обычных форм, которые приобретает в нашей стране суицидальный комплекс.

Есть такая английская пословица — «У каждого в шкафу спрятан свой скелет». Что-то мешает пра-

вильно, в общем, мыслящим англичанам понять окончательную истину. Ужаснее всего то, что этот скелет «свой» не в смысле имущественного права или необходимости его прятать, а в смысле «свой собственный», и шкаф здесь — эвфемизм тела, из которого этот скелет когда-нибудь выпадет по той причине, что шкаф исчезнет. Мне никогда не приходило в голову, что в том шкафу, который я называл Никой, тоже есть скелет; я ни разу не представлял ее возможной смерти. Все в ней было противоположно смыслу этого слова; она была сгущенной жизнью, как бывает сгущенное молоко (однажды, ледяным зимним вечером, она совершенно голой вышла на покрытый снегом балкон, и вдруг на перила опустился голубь — и Ника присела, словно боясь его спугнуть, и замерла; прошла минута; я, любуясь ее смуглой спиной, вдруг с изумлением понял, что она не чувствует холода или просто забыла о нем). Поэтому ее смерть не произвела на меня особого впечатления. Она просто не попала в связанную с чувствами часть сознания и не стала для меня эмоциональным фактом; возможно, это было своеобразной психической реакцией на то, что причиной всему оказался мой поступок. Я не убивал ее, понятно, своей рукой, но это я толкнул невидимую вагонетку судьбы, которая настигла ее через много дней; это я был виновен в том, что началась длинная цепь событий, последним из кото-

рых стала ее гибель. Патриот со слюнявой пастью и заросшим шерстью покатым лбом — последнее, что она увидела в жизни, — стал конкретным воплощением ее смерти, вот и все. Глупо искать виноватого; каждый приговор сам находит подходящего палача, и каждый из нас — соучастник массы убийств; в мире все переплетено, и причинно-следственные связи невозможны. Кто знает, не обрекаем ли мы на голод детей Занзибара, уступая место в метро какой-нибудь злобной старухе? Область нашего предвидения и ответственности слишком узка, и все причины в конечном счете уходят в неизвестность, к сотворению мира.

Был мартовский день, но погода стояла самая что ни на есть ленинская: за окном висел ноябрьский чернобушлатный туман, сквозь который еле просвечивал ржавый зигхайль подъемного крана; на близкой стройке районной авроркой побухивал агрегат для забивания свай. Когда свая уходила в землю и грохот стихал, в тумане рождались пьяные голоса и мат, причем особо выделялся один высокий вибрирующий тенор. Потом что-то начинало позвякивать — это волокли новую рельсу. И удары раздавались опять.

Когда стемнело, стало немного легче; я сел в кресло напротив растянувшейся на диване Ники и стал листать Гайто Газданова. У меня была привыч-

ка читать вслух, и то, что она меня не слушала, никогда меня не задевало. Единственное, что я позволял себе, — это чуть выделять некоторые места интонацией: «Ее нельзя было назвать скрытной; но длительное знакомство или тесная душевная близость были необходимы, чтобы узнать, как до сих пор проходила ее жизнь, что она любит, чего она не любит, что ее интересует, что ей кажется ценным в людях, с которыми она сталкивается. Мне не приходилось слышать от нее высказываний, которые бы ее лично характеризовали, хотя я говорил с ней на самые разные темы; она обычно молча слушала. За много недель я узнал о ней чуть больше, чем в первые дни. Вместе с тем у нее не было никаких причин скрывать от меня что бы то ни было, это было просто следствие ее природной сдержанности, которая не могла не казаться мне странной. Когда я ее спрашивал о чем-нибудь, она не хотела отвечать, и я этому неизменно удивлялся...»

Я неизменно удивлялся другому — почти все книги, почти все стихи были посвящены, если разобраться, Нике — как бы ее ни звали и какой бы облик она ни принимала; чем умнее и тоньше был художник, тем неразрешимое и мистичнее становилась ее загадка; лучшие силы лучших душ уходили на штурм этой безмолвной зеленоглазой непостижимости, и все расшибалось о невидимую или просто несуществующую — а значит, действитель-

но непреодолимую — преграду; даже от блестящего Владимира Набокова, успевшего в последний момент заслониться лирическим героем, остались только два печальных глаза да фаллос длиной в фут (последнее я объяснял тем, что свой знаменитый роман он создавал вдали от Родины). «И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, — бормотал я сквозь дрему, раздумывая над тайной этого несущегося сквозь века молчания, в котором отразилось столько непохожих сердец, — был греческий диван мохнатый да в вольной росписи стена...» Я заснул над книгой, а проснувшись, увидел, что Ники в комнате нет.

Я уже давно замечал, что по ночам она куда-то ненадолго уходит. Я думал, что ей нужен небольшой мочион перед сном или несколько минут общения с такими же никами, по вечерам собиравшимися в круге света перед подъездом, где всегда играл неизвестно чей магнитофон. Кажется, у нее была подруга по имени Маша — рыжая и шустрая; пару раз я видел их вместе. Никаких возражений против этого у меня не было, и я даже оставлял дверь открытой, чтобы она не будила меня своей возней в темном коридоре и видела, что я в курсе ее ночных прогулок. Единственным чувством, которое я испытывал, была моя обычная зависть по поводу того, что от меня опять ускользают какие-то грани мира, — но мне никогда не приходило в го-

лову отправиться вместе с ней; я понимал, до какой степени я буду неуместен в ее компании. Мне вряд ли показалось бы интересным ее общество, но все-таки было чуть-чуть обидно, что у нее есть свой круг, куда мне закрыт доступ. Когда я проснулся с книгой на коленях и увидел, что я в комнате один, мне вдруг захотелось ненадолго спуститься вниз и выкурить сигарету на лавке перед подъездом; я решил, что если и увижу Нику, то никак не покажу нашей связи. Спускаясь в лифте, я даже представил себе, как она увидит меня, вздрогнет, но, заметив мою индифферентность, повернется к Маше — отчего-то я считал, что они будут сидеть на лавке рядом — и продолжит тихий, понятный только им разговор.

Перед домом никого не было, и мне вдруг стало неясно, почему я был уверен, что встречу ее. Прямо у лавки стоял спортивный «Мерседес» коричневого цвета — иногда я замечал его на соседних улицах, иногда перед своим подъездом; то, что это одна и та же машина, было ясно по запоминающемуся номеру — какому-то «ХРЯ» или «ХАМ». Со второго этажа доносилась тихая музыка, кусты чуть качались от ветра, и снега вокруг уже совсем не было; скоро лето, подумал я. Но все же было еще холодно.

Когда я вернулся в дом, на меня неодобрительно подняла глаза похожая на сухую розу старуха, сидевшая на посту у двери, — уже пора было запи-

рать подъезд. Поднимаясь в лифте, я думал о пенсионерах из бывшего актива, несущих в подъезде последнюю живую веточку захиревшей общенародной вахты — по их трагической сосредоточенности было видно, что далеко в будущее они ее не заташат, а передать совсем некому. На лестничной клетке я последний раз затаился, открыл дверь на лестницу, чтобы бросить окурочек в ведро, услышал какие-то странные звуки на площадке пролетом ниже, наклонился над перилами и увидел Нику.

Человек с более изощренной психикой решил бы, возможно, что она выбрала именно это место — в двух шагах от собственной квартиры, — чтобы получить удовольствие особого рода, наслаждение от надругательства над семейным очагом. Мне это в голову не пришло — я знал, что для Ники это было бы слишком сложно, но то, что я увидел, вызвало у меня приступ инстинктивного отвращения. Два бешено работающих слившихся тела в дрожащем свете неисправной лампы показались мне живой швейной машиной, а взвизгивания, которые трудно было принять за звуки человеческого голоса, — скрипом несмазанных шестеренок. Не знаю, сколько я смотрел на все это, секунду или несколько минут. Вдруг я увидел Никины глаза, и моя рука сама подняла с помойного ведра ржавую крышку, которая через мгновение с грохотом врезалась в стену и свалилась ей на голову.

Видимо, я их сильно испугал. Они кинулись вниз, и я успел узнать того, кто был с Никой. Он жил где-то в нашем доме, и я несколько раз встречал его на лестнице, когда отключали лифт, — у него были невыразительные глаза, пошлые бесцветные усы и вид, полный собственного достоинства. Один раз я видел, как он, не теряя этого вида, роется в мусорном ведре; я проходил мимо, он поднял глаза и некоторое время внимательно глядел на меня; когда я спустился на несколько ступеней и он убедился, что я не составлю ему конкуренции, за моей спиной опять раздалось шуршание картофельных очисток, в которых он что-то искал. Я давно догадывался — Нике нравятся именно такие, как он, животные в полном смысле слова, и ее всегда будет тянуть к ним, на кого бы она сама ни походила в лунном или каком-нибудь там еще свете.

Собственно, сама по себе она ни на кого не похожа, подумал я, открывая дверь в квартиру, ведь, если я гляжу на нее и она кажется мне по-своему совершенным произведением искусства, дело здесь не в ней, а во мне, которому это кажется. Вся красота, которую я вижу, заключена в моем сердце, потому что именно там находится камертон, с невыразимой нотой которого я сравниваю все остальное. Я постоянно принимаю самого себя за себя самого, думая, что имею дело с чем-то внешним, а мир

вокруг — всего лишь система зеркал разной кривизны. Мы странно устроены, размышлял я, мы видим только то, что собираемся увидеть — причем в мельчайших деталях, вплоть до лиц и положений, — на месте того, что нам показывают на самом деле, как Гумберт, принимающий жирный социал-демократический локоть в окне соседнего дома за колено замершей нимфетки.

Ника не пришла домой ночью, а рано утром, заперев дверь на все замки, я уехал из города на две недели. Когда я вернулся, меня встретила розоволосая старушка с вахты и, поглядывая на трех других старух, полукругом сидевших возле ее стола на принесенных из квартир стульях, громко сообщила, что несколько раз приходила Ника, но не могла попасть в квартиру, а последние несколько дней ее не было видно. Старухи с любопытством глядели на меня, и я быстро прошел мимо; все-таки какое-то замечание о моем моральном облике догнало меня у лифта. Я чувствовал беспокойство, потому что совершенно не представлял, где ее искать. Но я был уверен, что она вернется; у меня было много дел, и до самого вечера я ни разу не вспомнил о ней, а вечером зазвонил телефон, и старушка с вахты, явно решившая принять участие в моей жизни, сообщила, что ее зовут Татьяна Григорьевна и что она только что видела Нику внизу.

Асфальт перед домом на глазах темнел — моросил мелкий дождь. У подъезда несколько девочек с ритмичными криками прыгали через резинку, натянутую на уровне их шей, — каким-то чудом они ухитрялись перекидывать через нее ноги. Ветер пронес над моей головой рваный пластиковый пакет. Ники нигде не было. Я повернул за угол и пошел в сторону леса, еще не видного за домами. Куда именно я иду, я твердо не знал, но был уверен, что встречу Нику. Когда я дошел до последнего дома перед пустырем, дождь почти кончился; я повернул за угол. Она стояла перед коричневым «Мерседесом» с хамским номером, припаркованным с пижонской лихостью — одно колесо было на тротуаре. Передняя дверь была открыта, а за стеклом курил похожий на молодого Сталина человек в красивом полосатом пиджаке.

— Ника! Привет, — сказал я, останавливаясь.

Она поглядела на меня, но словно не узнала. Я наклонился вперед и уперся ладонями в колени. Мне часто говорили, что такие, как она, не прощают обид, но я не принимал этих слов всерьез — наверно, потому, что раньше она прощала мне все обиды. Человек в «Мерседесе» брезгливо повернул ко мне лицо и чуть нахмурился.

— Ника, прости меня, а? — стараясь не обращать на него внимания, прошептал я и протянул к ней руки, с тоской чувствуя, до чего я похож на мо-

лодого Чернышевского, по нужде заскочившего в петербургский подъезд и с жестом братства поднимающегося с корточек навстречу влетевшей с мороза девушке; меня несколько утешало, что такое сравнение вряд ли придет в голову Нике или уже оскалившему золотые клыки грузину за ветровым стеклом. Она опустила голову, словно раздумывая, и вдруг по какой-то неопределимой мелочи я понял, что она сейчас шагнет ко мне, шагнет от этого ворованного «Мерседеса», водитель которого сверлил во мне дыру своими подобранными под цвет капота глазами, и через несколько минут я на руках пронесу ее мимо старух в своем подъезде; мысленно я уже давал себе слово никуда не отпускать ее одну. Она должна была шагнуть ко мне, это было так же ясно, как то, что накрапывал дождь, но Ника вдруг отшатнулась в сторону, а сзади донесся перепуганный детский крик:

— Стой! Кому говорю, стоять!

Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущуюся к нам по газону; ее хозяин, мальчишка в кепке с огромным козырьком, размахивая ошейником, орал:

— Патриот! Назад! К ноге!

Отлично помню эту растянувшуюся секунду — черное тело, несущееся низко над травой, фигурку с поднятой рукой, которая словно собралась огреть кого-то плетью, нескольких остановившихся про-

хожих, глядящих в нашу сторону; помню и мелькнувшую у меня в этот момент мысль, что даже дети в американских кепках говорят у нас на погранично-лагерном жаргоне. Сзади резко взвизгнули тормоза и закричала какая-то женщина; ища и не находя глазами Нику, я уже знал, что произошло. Машина — это была «Лада» кооперативного пошиба с яркими наклейками на заднем стекле — опять набирала скорость; видимо, водитель испугался, хотя виноват он не был. Когда я подбежал, машина уже скрылась за поворотом; краем глаза я заметил бегущую назад к хозяину собаку. Вокруг непонятно откуда возникло несколько прохожих, с жадным вниманием глядящих на ненатурально яркую кровь на мокром асфальте.

— Вот сволочь, — сказал за моей спиной голос с грузинским акцентом. — Дальше поехал.

— Убивать таких надо, — сообщил другой, женский. — Скупили все, понимаешь... Да, да, что вы на меня так... У, да вы, я вижу, тоже...

Толпа сзади росла; в разговор вступили еще несколько голосов, но я перестал их слышать. Дождь пошел снова, и по лужам поплыли пузыри, подобные нашим мыслям, надеждам и судьбам; летевший со стороны леса ветер доносил первые летние запахи, полные невыразимой свежести и словно обещающие что-то такое, чего еще не было никогда. Я не чувствовал горя и был странно спокоен.

Но, глядя на ее бессильно откинутый темный хвост, на ее тело, даже после смерти не потерявшее своей таинственной сиамской красоты, я знал, что, как бы ни изменилась моя жизнь, каким бы ни было мое завтра и что бы ни пришло на смену тому, что я люблю и ненавижу, я уже никогда не буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

МАКЕДОНСКАЯ КРИТИКА ФРАНЦУЗСКОЙ МЫСЛИ	7
ДЕНЬ БУЛЬДОЗЕРИСТА	54

РАССКАЗЫ

Память огненных лет

МУЗЫКА СО СТОЛБА	101
ОТКРОВЕНИЕ КРЕГЕРА (Комплект документов)	123
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ	133
РЕКОНСТРУКТОР (Об исследованиях П. Стецюка)	151
ХРУСТАЛЬНЫЙ МИР	162

Ника

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ	199
БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА	220
ИВАН КУБЛАХАНОВ	242
БУБЕН НИЖНЕГО МИРА	257
ТАРЗАНКА	265
НИКА	292